

Отец мой, будучи главным реставратором Третьяковской галереи и профессором художественных вузов, где он читал курс лекций по технике и технологии живописи, часто по просьбам инородных художников разъезжал по Союзу.

В конце марта 1938 года он поехал в Тбилиси и задержался там на целый месяц. Приехав, он рассказал, что принимали его с таким грузинским гостеприимством, широтой и благодарностью, что, отчитав намеченный курс лекций, он так сразу уехать не смог.

И, главное, он в Тбилиси познакомился и сдружился с двумя замечательными грузинскими художниками. У одной из них в середине апреля был день рождения, и она его попросила задержаться, чтобы отметить праздник вместе с ним, сказав, что его присутствие будет для нее самым большим подарком.

Как-то, в один из майских дней, отец сообщил нам, что сегодня к нему придет в гости приехавшая из Тбилиси великолепная грузинская художница, «красавица и умница», и попросил нас для ее «приема» купить бутылку «Рислинг», швейцарского сыра, ветчины и трюфелей.

Когда я и моя сестра Марина вернулись с покупками, то увидели, что отец тщательнее «выдраил» свою комнату, которая одновременно была и его домашней мастерской. На мольберте красовался один из его последних удачных этюдов, на стол вместо скатерти был накинут чистый холст, а в глиняном кувшине стоял сорванный им в саду при Третьяковке, где мы тогда жили, огромный букет сирени. В ожидании «красавицы и умницы» отец явно волновался.

Когда она пришла, папа позвал нас и представил ей. Мы увидели стройную, высокую, очень красивую, молодую, но совершенно седую женщину. Седина шла к ней, оттеняя прекрасные, добрые черные глаза и ножный цвет лица. Одета она была в строгий светлый костюм, на ней не было никаких «цацек»: ни цепей, ни браслетов, ни серег, которые в нашем детском воображении обязательно сопутствовали грузинским красавицам. Она была застенчива, легко краснела, говорила мало, речь ее была отрывиста и с сильным грузинским акцентом.

Отец был в ударе: блистал интересными рассказами и остроумием. Гостя курила и с улыбкой слушала его. Затем отец стал ей показывать свои живописные работы, и я, глядя на нее, поняла, что взаимотношения этой женщины с моим отцом необычны, полны взаимного понимания, восхищения и влюбленности.

Отец пошел ее провожать, прихватив с собой вынутый из кувшина букет. У нас дома она больше не появлялась. Но примерно через неделю один мой одноклассник сообщил, что видел моего отца на Арбате с какой-то «маркизой», несшей охапку сирени. Из этого я заключила, что художница из Тбилиси еще в Москве, оставалась и живет где-то на Арбате и что «третьяковский» букет уже завял и ей подарен свежий.

До войны я видела ее всего один раз, но запомнила даже ее имени. Но ее незаурядная внешность врезалась в мою память, и осталось воспоминание тайны романтических отношений ее с моим отцом.

Прошло 20 лет. Отбывала война, разбросавшая и разединившая многих близких. Наш дом при Третьяковке разбомбил. А в 1949 году умер отец. Мы с сестрой к этому времени окончили не только школу, но и Марину — консерваторию, а я — театральный институт. Обе были замужем, имели детей и жили все вместе на Большой Полянке.

Весной 1958 года главный режиссер Театра имени М. Н. Ермоловой, в котором я работала, Л. Варпаховский на одном из собраний сообщил, что собирается ставить пьесу французского драматурга Деваля «Мольба о жизни», для работы над которой пригласил известную грузинскую художницу, сподвижницу Марджанова, учившуюся во Франции, художницу, во выражении Варпаховского, а абсолютным вкусом, Елену Ахведиани. Мне это имя ничего не сказало. Но через несколько дней, идя по фойе театра, я увидела, что мне навстречу идет красивая, седая и уже немолодая старинная папина приятельница. Поравнявшись с ней, я остановилась, сказав: «Я дочь Алексея Александровича Рыбникова». Реакция была мгновенной: она схватила меня за руку и с изменившимся от скорби лицом спросила: «Де он похоронен? Вы разрешите мне навестить его могилу!»

На следующий день я зашла за ней в Брюсовский переулок на квартиру Дорлиак и Рихтера, где она тогда остановилась. Выйдя на улицу, Елена Дмитриевна моментально проголосовала первой проходящей машине, в которую мы сели и поехали вначале на рынок, где она купила на могилу отца сирень, а затем — на кладбище.

Пока я прибирала участок, мыла памятник и ставила в воду цветы, Елена Дмитриевна стояла молча, опершись на ограду. Когда же я все убрала, она подошла к могиле, взяла одну ветку белой сирени и бросила ее на постамент памятника и затем, положив ладонь на черный мрамор креста, провела по нему рукой, словно погладила его. И, глубоко вздохнув, тихо сказала: «Пошла».

Выйдя на улицу, она снова подняла руку и «проголосова-

ла». Это был единственный способ ее передвижения по городу, иным транспортом она не пользовалась. Ее многочисленные карманы были набиты мелкими денежными бумажными знаками. Она запускала в карман руку, вынимала столько, сколько умещалось в ее ладони, и, почти не глядя, отдавала шоферу. Я предложила ей захватить к нам домой пообедать, повидать Марину и познакомиться с нашей большой семьей. Елена Дмитриевна пробыла у нас до вечера, осталась ночевать и с этого дня, приезжая в Москву, она, как правило, останавливалась

стали Елене Дмитриевне близкими и родными. «У вас на стоящий грузинский дом», — говорила она, и в ее устах это было для нас самым большим комплиментом. Она, любившая оказывать помощь людям и зная, что квартира у нас вместительная, часто звонила к нам из Тбилиси с просьбой, чтобы мы на время приютили то приехавшую учиться в Москву племянницу, то какую-то художницу, которой надо лечь в больницу на обследование. Как-то она позвонила и сказала: «В воскресенье на один день, приезжая в Москву, она, как правило, останавливалась

ко что высказанного обо мне, но после столь прекрасного тоста постараюсь быть лучше. На что Елена Дмитриевна заметила: «В этом смысл нашего застоя — все говорят друг другу только хорошее, и ведь знаешь, что врут, но слушать все равно приятно и стараешься это мнение оправдать».

Как-то, глядя на один из пейзажей Елены Дмитриевны, я сказала: «Это так же ярко, как у Матисса. Вы — настоящая французская художница!» Она недовольно посмотрела на меня и строго спросила: «А разве не грузинская?» Я поняла

Тбилиси не вошел в список зачтенных городов и зная доброту Елены Дмитриевны, дал Варпаховскому ее адрес. И она совершенно не знакомого ей человека, пришедшего даже не с улицы, а из заключения, с риском для себя приютила в собственном доме. Он гостем жил у нее около года. Мало того: она дала ему возможность заново родиться как режиссеру, сосватав его в Театр имени Марджановичи на постановку пьесы «Деревья умирают стоя», где художником была она, а центральной роль играла Верико Анджапаридзе. С этого спектакля ему

мени и не ездили бы встречать меня. Прилетев, я поехала прямо к Елене Дмитриевне. Когда я вошла в ее огромную комнату, являющуюся одновременно и ее выставочным залом, то она стояла среди ящиков с прибывшими уже картинами Рихтера. «Ты к кому пришла?» — строго спросила она меня. «К вам», — ответила я. «Нет. Ты не ко мне, ты к Мако пришла». И тут я вспомнила рассказ Рихтера, как однажды он, приехав в Тбилиси, остановился не у нее, а у ее приятельницы: это была целая драма — он не знал, как их помирить. Памятуя эту историю, я стала ей уверять, что боюсь ей помешать, но если она не против, то, конечно, буду жить у нее. «Дура!», — сказала она ласково, сменив гнев на милость и поцеловав меня.

Елена Дмитриевна поселила меня в маленькой комнатке, живописно увешанной связками лука и являвшейся ее крошечной столовой. Дверь из нее вела в огромную комнату, где она и спала, и работала, и устраивала выставки. В зале была лестница, ведущая на антресоли, там помещался запасник и хранились ее картины. Часть зала была отгорожена раздвижными занавесом, за которыми находились мольберт, подрамники, кисти и краски. Никакой мебели не было. Стоял только ряд хороших старинных грузинских глиняных кувшины. В фильме «Покорение» режиссер Абуладзе этот зал Елены Дмитриевны увековечил: для съемки была использована ее комната как мастерская художника — героя фильма.

В один из дней мы долго бродили с ней и беседовали. Она сказала: «Мать Сталина лежит в Пантеоне. Лучше бы вместо Пантеона он приехал на похороны с ней попрощаться». Она рассказала, что ее мучит совесть, так как однажды под угрожающим давлением написала портрет Сталина. И, чтобы «сдобрит» его неподдающееся живописи лицо, решила изобразить рядом с ним мальчика, которого он обнял за плечи. Моделью для мальчика она избрала своего маленького красивого племянника. Художественный совет и органы безопасности забраковали картину и с подозрением спросили: «Что это, у вас Иосиф Виссарионович хочет задушить ребенка?» Еще счастье, что она отделалась только тем, что портрет не пропустили, — могло быть гораздо хуже. Но она не могла себе простить, что раз в жизни покривила душой.

...Елена Дмитриевна была поглощена развеской картин Рихтера. Каждый день являлись помощники: рабочие и «академик по окантовке» — Сандро. Она командовала и была очень требовательна. По несколько раз все переувешивали. Наконец, в канун ее рождения, экспозиция была готова. Вечером этого дня, когда она, уже еле живая, сидела со мной в маленькой комнатке, вдруг появилась какая-то женщина и, отрекомендовав себя журналисткой, попросила, чтобы Елена Дмитриевна провела ее по выставке сегодня, объясняя это тем, что завтра вернисаж совпадает с днем рождения и трудно будет что-либо рассмотреть. Елена Дмитриевна, не вставая, сказала: «Вот дочь профессора Рыбникова. Она выросла в Третьяковке. Она вас проведет и все вам расскажет».

Такой озорной каверзой от нее не ожидала, но глупо было при незнакомом, постороннем человеке пререкаться, доказывая, что у меня другая профессия и что «вырасти в Третьяковке» мало для того, чтобы быть искусствоведом. Я решила, набравшись храбрости, стать ее экскурсоводом. Работы я знала и, не мудруясь лукаво, рассказала о собственном восприятии его живописных работ и о том, сколько многогранен гениальный музыкант. Конечно, с моей стороны это было нахальство, но вынужденное. Когда журналистка ушла, я потребовала, чтобы Елена Дмитриевна достала из ящика с коньяком, приготовленным на завтра, бутылку, чтобы отметить мою новую профессию. «Да ты еще и пьяница!», — пошутила она, довольная тем, что я с корреспонденткой не сдружились.

Вскоре об этом эпизоде я забыла, но в Москве Рихтер сказал, что знает о моем «интервью» по поводу его живописи. Оказывается, мой «экспромт» был не только прослушан, но и записан и даже опубликован в газете. К счастью, газеты я не читала, поэтому от дополнительных угрызений совести избавлена.

День рождения Елены Дмитриевны, по-моему, прошел, как национальный праздник. С раннего утра стали в подарок нести цветы и торты собственного изготовления. Народу было много.

На следующее утро Елена Дмитриевна поехала меня провожать. Очевидно, не шуточная характеристика, данная мне, что я пьяница, сработала: меня снабдили трехлитровой банкой дивного вина и литровой бутылкой чечи в подарок моему мужу.

Противившись с Еленой Дмитриевной на пороге аэровокзала и выйдя на летное поле, я заплакала. Слезы текли, и я не могла их остановить и не могла вытерпеть, так как руки мои были заняты «подарками». Плакала я всю дорогу до Москвы. Очевидно, это было предчувствие, что я никогда больше не увижу ее и никогда больше не повторится проведенная у нее самая счастливая неделя в моей жизни.

К. Магалашвили. Портрет Елены Ахведиани, 1924 г.
С. Старый Тбилиси. Елена Ахведиани, 1966 г.

Прасковья Рыбникова

ЭЛИЧКА

Мы продолжаем публикацию воспоминаний Прасковьи Рыбниковой «Главы из семейного романа». Предыдущий фрагмент был посвящен архитектору Жолтовскому и его окружению. Полностью воспоминания будут опубликованы предприятием «НЬЮДИА-МЕД-АО» небольшим тиражом.



всю несостоятельность своего комплимента.

Елена Дмитриевна была национальной гордостью Грузии. Она исколесила и запечатлела в своих работах бесчисленное количество уголков своей прекрасной родины: и Дигани, и Сигнахи, и Пасанаури, и многие другие места увлекательны ею. В ее картинах можно увидеть все времена года: и осенние, с облетевшими листьями, голые деревья, и заснеженные крыши домов и колоколен, и весенние розовые цветущие сады. Особое место в ее работах занимает Тбилиси. Она писала нам, что страдает, видя, как уничтожается ее родной старый город и на его месте воздвигаются безликие серые коробки. Она торопилась, пока не все еще снесено, запечатлеть его старинной архитектуры домики, в которых на протянутых вдоль террас веревках сушится белье. Это сказочно красиво, дарит радость, уют и тепло.

Она была замечательным театральным художником и оформляла спектакли и в Малом театре, и в Театре имени Леси Украинки, и в Театре имени М. Н. Ермоловой, не говоря уже о Театре Марджановичи, где она в свое время была главным художником. О ней много написано искусствоведами, ее персональные выставки пользовались неизменным успехом. Она была знаменита далеко за пределами Грузии. Но в Грузии она пользовалась не только всеобщим авторитетом и признанием, но и редкой популярностью среди народа, который ласково именвал ее Эличкой. Когда я



у нас. Думаю, что всю свою любовь и нежность к моему отцу она перенесла на нас, на его семью.

Мы с сестрой старались сохранить в доме традиции, созданные нашими родителями. Отец и мать оба служили и поклонялись искусству «безраздумно, бесцельно». Мы, живя с детства при Третьяковке, знали картины, висевшие в ее залах, не упустили. Мало того: от отца мы слышали, какие из них «болеют» и как от их «лечить». Но, пожалуй, основной традицией моих родителей были интерес и любовь к людям. Они всегда были окружены друзьями, знаменитыми и не знаменитыми, но обязательно близкими и родными по духу. И мы с Мариной унаследовали понятие, что основным богатством дома, создающим его ауру, являются люди, не только в нем живущие, но и в него приходящие.

Благодаря большому помещению у нас на торжествах по случаю дней рождения, Нового года или Дня Победы собиралось около сорока человек. Это были люди разного возраста, разных национальностей и разных профессий: музыканты, актеры, художники, врачи, юристы, физики, литераторы. На праздниках обязательно играли в шарды, игру веселую, объединяющую всех присутствующих, где каждый в силу своих возможностей проявляет свои «актерские» способности, фантазию и остроумие. Это праздничное игрище тоже было одной из традиций, перешедших к нам от родителей. Наш дом и все его обитатели

впервые приехала в Грузию на семидесятилетний юбилей Елены Дмитриевны, то, путаясь, никак не могла объяснить шоферу ее адрес: дом выходил на две улицы и имел два почтовых адреса. Таксист мрачно слушал и, наконец, потеряв терпение, спросил: «Так куда же вас все-таки везти?» И тут, обессилев, я сказала, что приехала в гости к одной художнице по фамилии Ахведиани. «К Эличке? — спросил таксист. — Так бы сразу и сказали!»

Вначале я решила, что она просто знакома всем таксистам Тбилиси своей королевской щедростью, но вскоре был такой случай. Марина в Москве покупала на улице мимозу у продавца-грузина, заломившего бесовски высокую цену. Сестра пристыдила его, сказав, что он ее разочаровал, так она привыкла думать о грузинах хорошо благодаря широте и щедрости своей тбилисской приятельницы. «А кто твой приятельница?», — поинтересовался продавец. Марина назвала фамилию Елены Дмитриевны. «Эличка? — воскликнул грузин. И почти за бесценно отдал сестре мимозу.

Доброты и смелости она была беспредельной. Когда репрессированный режиссер Театра имени Мейерхольда Варпаховский, отсидев срок, покидал лагерь, ему некуда было возвращаться, ибо вездь во все знакомые ему города был запрещен. Сидевший с ним вместе приятель Елены Дмитриевны, известный художник Василий Шухаев, оставался еще в лагере. Они встали сдружилась. Шухаев, узнав, что

я в Москве Рихтер сказал, что знает о моем «интервью» по поводу его живописи. Оказывается, мой «экспромт» был не только прослушан, но и записан и даже опубликован в газете. К счастью, газеты я не читала, поэтому от дополнительных угрызений совести избавлена.

Вскоре об этом эпизоде я забыла, но в Москве Рихтер сказал, что знает о моем «интервью» по поводу его живописи. Оказывается, мой «экспромт» был не только прослушан, но и записан и даже опубликован в газете. К счастью, газеты я не читала, поэтому от дополнительных угрызений совести избавлена.

Вскоре об этом эпизоде я забыла, но в Москве Рихтер сказал, что знает о моем «интервью» по поводу его живописи. Оказывается, мой «экспромт» был не только прослушан, но и записан и даже опубликован в газете. К счастью, газеты я не читала, поэтому от дополнительных угрызений совести избавлена.